

Александр Восьмой



Книга 10. «Тот, Кто Пишет Кровью»

18+

Александр Восьмой

**Книга 10. «Тот, Кто
Пишет Кровью»**

«Автор»

2026

Восьмой А.

Книга 10. «Тот, Кто Пишет Кровью» / А. Восьмой — «Автор», 2026

За Разломом стоит Автор. Не бог — хуже. Тот, кто придумывает. Тот, кто написал их имена в книге с первой части. Тот, чья кровь на страницах — живая. Автор хочет, чтобы история закончилась красиво. Чтобы кто-то из шестерых пожертвовал собой, и мир Разлома закрылся. Но Оптима уже научилась не искать лучшее, Прима — не быть сильнее всех, Даффи — не прятаться за спокойствием, Фаргус — не бежать, Окси — не быть только быстрой, а Сиринити — не молчать. Вместо жертвы они предлагают Автору сделку: они перепишут его книгу. Своими словами. Кровью, которой ещё не было — но уже есть.

Александр Восьмой

Книга 10. «Тот, Кто Пишет Кровью»

Глава 1. Имя, которое не стереть

Разлом дышал.

Не так, как дышит трещина в стене — забыто, мертво, для галочки. Нет. Разлом дышал так, как дышит рот, который только что сказал что-то такое, чего лучше было не говорить. Втягивал воздух медленно, со вкусом. И вместе с воздухом — страницы.

Берёзы на окраине Наумовки стояли без листьев. Не потому, что осень — потому что листья ушли в Разлом первыми. Тонкие, как пергамент, они кружились перед щелью в небе, а потом втягивались внутрь — бесшумно, как слова, которые ты решил не произносить, но они всё равно нашли дорогу наружу.

Небо над деревней больше не было небом. Оно было листом, с которого кто-то стёр голубое и ещё не дописал новое. Серое. Тонкое. Если прищуриться — можно увидеть строчки. Если присмотреться — можно прочитать.

Оптимист стояла у окна дома, где они ночевали, и смотрела, как Разлом пульсирует на горизонте. Он был не один — их стало три. Три рта в небе, и каждый дышал в своём ритме, как три слова в предложении, которое никак не сложится.

Она увидела первой.

На внутренней стороне предплечья — левое, ближе к сердцу — проступило. Не резко, не как порез. Как татуировка, которую наносили часами, но увидели только сейчас. Имя. **Фаргус**. Буквы чужого почерка — с наклоном влево, с завитком на «г», с точкой, которая не точка, а капля.

Чёрные не от туши. От крови.

— Фаргус, — позвала она, не повышая голоса. Так зовут, когда знают, что ответ будет плохой.

Фаргус поднял руку. На его запястье уже проступало **Окси**. Он попытался стереть — ладонью, потом ногтями, потом краем рубахи. Кожа сошла — тонкими лоскутами, без боли, как будто её и не было. Буквы проступили снова. Глубже. Острее. Будто кто-то перепроверил: правильно ли написал.

— Он проверяет, — сказала Оптимист. Не «кто-то». Не «что-то». **Он**.

К полудню имена были у всех.

У Примы — на ключицах, симметрично, как орден, которого не давали. **Даффи**. Буквы тонкие, каллиграфические — чужой почерк, заботливый, будто Автор старался.

У Окси — на ребрах, с левой стороны. **Сиринити**. Окси дышала часто и мелко — как будто буквы мешали `expand`, как будто имя на коже было лишним ребром.

У Даффи — на спине, между лопаток. Он не мог видеть, но чувствовал. **Прима**. Он молчал о том, что чувствовал, потому что Даффи умел молчать красиво. Но руки у него дрожали.

У Сиринити — на шее. **Оптимист**. Она закрыла волосы, подняла воротник, но буквы проступали сквозь ткань, как кровь сквозь бинт.

Шесть имён. Шесть живых подписей. Замкнутый круг — каждый носил имя другого, и никто не носил своё.

— Это не проклятие, — сказал Фаргус. Он сидел на полу, спиной к стене, и смотрел на свои руки, где кожа уже начинала заживать — грубо, шрамами, но буквы **Окси** стояли в шрамах, как в рамке.

— А что? — спросил Даффи. Голос ровный. Спокойный. Он всегда так: когда страшно — ровно, когда больно — спокойно. Но Оптима видела, как он сжал кулаки так, что костяшки побелели.

— Это подпись, — ответил Фаргус. — Контракт. Он нас не убивает. Он нас **оформляет**.

Тишина. Разлом на горизонте втянул очередную порцию неба, и тень от берёз стала на два пальца длиннее.

— Он хочет, чтобы мы знали, — сказала Сиринити. Она говорила редко, но когда говорила — слова падали, как камни в колодец. — Кому мы принадлежим.

— Мы никому не принадлежим, — Прима. Не крикнула. Не выпрямилась. Просто сказала, как говорят вещи, которые не требуют доказательств. Она была из тех, кто раньше доказывал силой. Теперь — тишиной.

Ночь пришла не темнотой — отсутствием слов.

Разлом светился. Все три рта — тёплым, багровым, как лампа, у которой кто-то выкрутил фитиль на максимум. Деревня была пуста. Не от страха — от того, что Разлом втянул звуки. Собачий лай, скрип калитки, шорох травы — всё ушло в рот. Осталось только то, что нельзя втянуть: дыхание шестерых, сердца шестерых, имена на коже шестерых.

Оптима вышла на крыльцо. Посмотрела на небо — на тонкое, исписанное небо, где сквозь серое проступали строчки чужого текста. Она различала слова. Не все. Но некоторые.

«...и тогда один из них...»

Дальше — размазано. Как будто Автор ещё не решил. Как будто выбирал.

— Он не бог, — сказала Оптима, не оборачиваясь. Пятеро стояли за её спиной. Она это чувствовала — не шагами, а теплом. Каждый — свой жар. Фаргус — рваный, как костёр. Прима — плотный, как нагретый камень. Окси — быстрый, как искра. Даффи — ровный, как стена у печи. Сиринити — глубокий, как угли. — Он не бог. Он хуже. Он — тот, кто придумывает.

— И что он придумал? — Даффи.

— Что кто-то из нас должен умереть. Чтобы книга закончилась красиво.

Снова тишина. Но другая — не пустая, а плотная, как страница, на которой ещё ничего не написано, но бумага уже дрожит.

— Красиво, — повторил Фаргус. Сплюнул. — Красиво он хочет.

— Он Автор, — сказала Сиринити. — Для него красиво — это когда жертва добровольная.

Рассвет не пришёл. Вместо рассвета — страница перевернулась. Разлом мигнул, багровое сменилось белым, и на несколько секунд небо стало чистым, ослепительным, как свежий лист. А потом на нём проступила одна-единственная строчка. Крупно. Чётко. Почерком, который теперь знали все шестеро — потому что он же был на их коже.

«Кто из вас напишет последнюю главу?»

Оптима посмотрела на свою руку. Буквы **Фаргус** пульсировали — медленно, ровно, как второе сердце.

— Никто, — сказала она. — Никто не напишет последнюю главу. Потому что мы переписем всю книгу.

Она подняла руку — ту, с именем. Сжала кулак. Костяшки побелели, буквы натянулись, как тетива.

— Своими словами.

Фаргус встал рядом. Прима — рядом. Окси — рядом. Даффи — рядом. Сиринити — рядом.

Шесть кулаков. Шесть имён. Шесть живых подписей на коже, которая не хочет быть бумагой.

Разлом дышал. Но впервые — впервые! — он замедлился. Как будто услышал. Как будто Authors испугался.

Или — заинтересовался.

Небо над Наумовкой держалось. Пока держалось. Но страницы переворачивались, и на каждой следующей — меньше слов. И больше крови.

Глава вторая: «Рукописи не горят. Но горят авторы.»

Глава 2. Шесть свечей и один сквозняк

Школа на улице Полевой умерла первой.

Не от старости — от Разлома. Он прошёл через неё, как игла сквозь ткань: не разрезая, а раздвигая. Стены стояли. Крыша держалась. Но внутри всё стало тоньше — доски, парты, стекло в окнах. Как будто школа стала черновиком, с которого кто-то стирал лишнее.

Именно здесь они впервые увидели Разлом. Три месяца назад. Трое суток назад. Вечность назад.

Прима выбрала это место. Не потому что помнила — потому что понимала: если Автор пишет книгу, значит, нужно вернуться к первой главе. К первому абзацу. К точке, где перо коснулось бумаги.

Она зажгла шесть свечей.

Не молитвенных — обычных, из магазина, который уже не работал, потому что хозяин ушёл в Разлом на второй день. Воск был мятый, свечи кривые, но горели ровно — все шесть, одинаково, как солдаты в строю.

Прима расставила их на полу класса, где раньше висела доска с расписанием. Доски не было — Разлом забрал. Но гвозди остались. Два ржавых гвоздя, вбитые в стену, словно точки после предложения, которое не закончил автор.

— Все здесь? — спросила она.

Фаргус кивнул. Стоял у окна — того, что выходило на запад, в сторону Разлома. За окном небо всё ещё было серым, но серым по-другому: не пустым, а исписанным. Строчки стали чётче. Буквы — крупнее. Как будто Автор сменил почерк на более размашистый.

Даффи сидел за партой. Третьей от окна, во втором ряду — именно за той, за которой сидел три месяца назад, когда Разлом открылся. Он не помнил этого. Но тело помнило. Руки сами легли на стол, как на родной.

Сиринити стояла у двери. Не входя. Стояла на пороге — одна нога в классе, одна в коридоре, как будто не решила. Или решила, но давала себе право передумать.

Оптим сидела на полу, скрестив ноги, и смотрела на свечи. Она считала — не секунды, а огоньки. Каждый огонёк был именем. Каждый — живым.

Окси опоздала.

Когда она вошла, все повернулись — не потому что услышали, а потому что ветер от двери загнул пламя. Все шесть свечей разом. Никто не входил — никто не открывал дверь. Она просто появилась, как слово, которое вставили в готовое предложение.

Ладони — ободранные. Не до крови — глубже. До того слоя кожи, которого нет, но который должен быть. Белые, как страница. И на них — ничего. Ни букв, ни имён. Чистые.

— Тридцать семь секунд, — сказала она. Голос был не такой, как обычно — не быстрый, не колючий. Тихий. Как будто быстрая девочка наконец выдохнула и обнаружила, что без бега тоже можно стоять. — Я бежала от него тридцать семь секунд. Он не двигался. Он просто ждал.

— Кто — «он»? — Фаргус.

— Не знаю. Не видела. Но он был. Как сквозняк в комнате без окон.

Свечи выпрямились. Все шесть. Одновременно. Как будто кто-то сказал «спокойно» — и они послушались.

— Ждал — чего? — Оптима.

— Чтобы я остановилась. — Окси посмотрела на свои ладони. Белые. Пустые. — Я не остановилась. Поэтому он отпустил. Пока.

Даффи встал. Медленно — так вставают, когда знают, что#### будет тяжело. Он достал из-под парты свёрток. Бумага — настоящая, не из Разлома. Картографическая, плотная, с координатной сеткой. Он расстелил её на столе, разгладил ладонями — теми, которые дрожали, но разглаживали ровно, потому что Даффи умел делать ровно то, что дрожит.

Карта Разлома.

Он рисовал её сам. Три дня. Без сна. Без еды — Фаргус приносил, и Даффи ел, не отрываясь от карты, как будто еда была топливом для линии. Линии — чёрные, тонкие, точные. Трещины. Все трещины, все рты, все щели в небе над Наумовкой и окрестностями.

— Смотрите, — сказал он. И впервые за всю главу — без спокойствия. С дрожью, которую больше не прятал.

Они смотрели.

Трещины складывались.

Не случайно — не хаотично, как трещины на льду. Они складывались в буквы. Буквы — в слова. Слова — в предложение. Одно слово на каждого. Шесть слов. Шесть имён.

«Один из вас останется внутри навсегда.»

Карту нельзя было стереть. Даффи пробовал — резинкой, потом водой, потом ногтем. Линии не стирались. Они въедались в бумагу, как имена в кожу.

Фаргус ударил по столу. Кулак — в дерево. Парт треснула. Не от силы — от того, что Разлом был и в дереве, и в кулаке, и в воздухе между ними.

— Он не спрашивает, — сказал Фаргус. — Он ставит условия.

— Нет, — Прима. Она стояла над картой, и её тень падала на слова, закрывая их. Не случайно — намеренно. Тень как отмена. — Он предлагает. Как всякий Автор — он предлагает финал. Но финал — это не условие. Это выбор.

Сиринити молчала.

Дольше, чем обычно. А обычно она молчала так, что тишина становилась плотнее воздуха. Но эта тишина была другой — не пустой, а переполненной. Как страница, на которой слова написаны, но сверху — белый лист. И белое не пустое. Белое — это спрятанное.

Все ждали. Никто не торопил. Они знали: когда Сиринити молчит, она не отсутствует. Она присутствует так, что другим становится неловко от того, как мало они слушают.

Она шагнула в класс. Вторая нога — с порога, внутрь. Дверь за спиной закрылась. Не от ветра — сама. Или не сама.

— Он хочет, чтобы кто-то остался внутри, — сказала Сиринити. Голос — низкий, ровный, без верха и без низа, как струна, которую натянули до предела и отпустили ровно на полтона. — Навсегда.

Никто не спросил «откуда ты знаешь».

Потому что ответ был на её шее. Имя **Оптима** пульсировало — но не так, как у других. Медленнее. Как будто Автор писал это имя дольше. Задумчивее. Как будто не просто записывал — обводил.

— Он сказал мне, — продолжила Сиринити. — Не словами. Он показал. — Она подняла руку и коснулась шеи. — Каждая буква — это его палец. Когда он дописывает — он держит тебя. Когда держит — ты видишь то, что он видит. Я видела его руки. Я видела страницу. Я видела финал.

— Какой? — Оптима. Один слог. Без интонации. Как скальпель.

— Красивый, — ответила Сиринити. И это слово прозвучало страшнее всего, что она говорила до этого. — Он хочет, чтобы это было красиво. Чтобы кто-то вошёл в Разлом добровольно. Чтобы закрыл его собой. Чтобы на последней странице — кровь и тишина. И всем стало светло.

Свечи мигнули. Не от сквозняка — от слова «светло». Как будто даже огонь понял, что светло бывает разное.

Фаргус сел. Не на стул — на пол. Рядом с Оптимой. Его колено коснулось её колена — случайно или нет, но ни один не отодвинулся. Он посмотрел на свои руки. Имя **Окси** на запястье. Ободранные ладони Окси — пустые. Контраст: один носит имя, другой — нет.

— Тогда не будем красивыми, — сказал Фаргус. — Будем живыми.

— Это не одно и то же? — Даффи. Без спокойствия. С вопросом, который был не вопросом, а вызовом.

— Для него — нет, — ответила Оптима. — Для него красиво — это жертва. Для нас красиво — это утро. Простое, тупое, с запахом хлеба и звуком дождя. Он не умеет писать такое. Он умеет писать финалы.

Она подняла карту. Держала двумя руками — за края, осторожно, как раненую птицу. Линии на бумаге шевельнулись — едва, почти незаметно, как ресницы у спящего.

— Мы перепишем, — сказала Оптима. — Не его финал. Всю книгу. С начала. С этой школы. С этих свечей. С наших ладоней — ободранных, чистых, грязных, кровоточащих. С наших имён — которые он написал, но не дописал, потому что не знает, чем закончится каждое.

— Чем? — Прима.

— Тем, что мы решим сами.

Шесть свечей. Один сквозняк.

Сквозняк прошёл по классу — не от двери, не от окна. От Разлома. Тёплый, с запахом чернил и крови, с привкусом бумаги, которая горит не огнём, а смыслом.

Одна свеча погасла.

Никто не видел — какая. Когда посмотрели — все шесть горели. Но света стало меньше. На одну свечу. На одно имя. На один шанс.

Где-то в Разломе кто-то взял перо. Обмакнул. И задумался.

Глава третья: «Бумага не терпит чернил. Чернила не терпят живых.»

Глава 3. Чернила из вен

Ночь не пришла. Она произошла.

Разлом на горизонте — все три рта — разом раскрылись. Не шире — глубже. Как книга, которую поставили на торец и отпустили, и она раскрылась на той странице, которую Bookmark заложил не читатель, а автор. Страницы — чёрные, багровые, белые — встали вертикально, стеной, и небо над Наумовкой превратилось в корешок. Толстый. Тёплый. Пульсирующий.

И из глубины вышел не монстр.

Тишина.

Не та тишина, что была в школе — плотная, налитая смыслом. Другая. Рабочая. Тишина, которая пишет.

Она двигалась по деревне, как туман, но без влаги. Сухая. С запахом железа и пергамента. Касалась заборов — и на досках проступали буквы. Касалась травы — и стебли складывались в строки. Касалась окон — и стекло покрывалось текстом, как инеем, только чёрным.

Буквы ложились на всё. На землю — вкось, как подпись на документе, который не обсуждают. На деревья — снизу вверх, против роста, против природы. На крыши — крупно, заглавными, будто заголовки глав, которых ещё не было.

И на кожу.

Оптимист стояла на крыльце школы. Тишина коснулась её лба — и на виске проступила строка. Не имя. Предложение.

«Она стояла на крыльце и знала, что это последний рассвет, которого не будет.»

Она прочитала. Усмехнулась. Не весело — точно. Как усмеваются, когда чужой текст описывает тебя хуже, чем ты есть.

— Это не угроза, — сказала она, не оборачиваясь. Пятеро стояли за ней. Она знала — по теплу, по дыханию, по тишине каждого. — Это сценарий.

Разлом показывал.

Не фигуру. Не лицо. Не руки с пером. Он показывал кадры — плоские, как страницы, светящиеся изнутри, как окна в доме, где горит свет, но никто не выходит. Кадры вставали в воздухе перед ними — шесть. По одному на каждого. Живые иллюстрации к книге, которую Автор дописывал прямо сейчас.

Первый кадр — **Фаргус**.

Он бежит по мосту. Мост длинный, деревянный, над рекой, которой нет. Разлом за спиной. Он бежит — быстро, сильно, красиво. Волосы назад, рубаха рвётся, мышцы натянуты, как тетива. Он добегают до конца моста — и мост обрывается. Не ломается — обрывается, как предложение на запятой. Фаргус падает. Камера — сверху. Он лежит на спине, руки раскинуты, лицо к небу. Красиво. Уместно. Финально.

Фаргус смотрел на свой кадр и молчал. Потом сказал:

— Я не падаю. Я прыгаю. Он не знает разницы.

Второй кадр — **Прима**.

Она стоит в круге. Шесть свечей — те самые, кривые, мятые. Вокруг — тьма, но не Разлом, а что-то другое. Внутреннее. Она поднимает руки — и тьма отступает. Не потому что

свет, а потому что сила. Она ломает тьму голыми руками, и тьма трескается, как стекло, и осколки летят внутрь Разлома, и Разлом закрывается. А Прима стоит в центре. Одна. Навсегда. Скульптура в пустом зале. Герой, которого забыли отпустить.

Прима посмотрела. Кивнула — медленно, как кивают, когда узнают знакомое.

— Он пишет меня сильной. Я больше не хочу быть сильной. Я хочу быть живой.

Третий кадр — **Окси**.

Она бежит. Опять. Тридцать семь секунд, сто тридцать семь, триста тридцать семь — бесконечно. Разлом за ней, как тень, которую нельзя обогнать. Она бежит — красивая, лёгкая, как стрела. И в какой-то момент стрелы кончаются. Она останавливается. Не от усталости — от понимания. Бежать некуда. Мир — страница, и на ней нет полей. Она стоит. Разлом догоняет. Обнимает. Снизу вверх — по ногам, по рукам, по лицу. Окси становится буквой. Красивой. Тонкой. Последней в слове «конец».

Окси посмотрела на свои ладони. Белые. Пустые. Потом — на кадр. И сказала тихо:

— Он пишет, что я остановилась. Я не остановилась. Я выбрала. Это разные вещи.

Четвёртый кадр — **Даффи**.

Он сидит. За партой. Третьей от окна, во втором ряду. Спокойный. Ровный. Руки на столе. Вокруг — рушится мир. Стены трескаются, потолок проваливается, Разлом вгрызается в школу, как зверь в хлеб. А Даффи сидит. Не потому что смелый — потому что решил, что движение бесполезно. Он закрывает глаза. Улыбается. Тонкой, спокойной улыбкой, которую умеют только те, кто давно перестал бояться не смерти, а жизни. Разлом берёт его последним. Бережно. Как книгу с полки.

Даффи смотрел на свой кадр и не улыбался. Впервые за всю главу — без маски. Губы дрожали, подбородок — тоже. Он сказал:

— Он пишет меня спокойным. Я не спокойный. Я трус, который научился сидеть тихо.

— Пауза. — Но я больше не хочу сидеть тихо.

Пятый кадр — **Сиринити**.

Она говорит. Долго. Много. Слова — крупные, как камни, — летят в Разлом, и Разлом ловит их, и каждый камень закрывает одну щель. Она говорит, пока не охрипнет, пока голос не становится шёпотом, пока шёпот не становится дыханием, пока дыхание не становится ничем. Последнее слово — «жертва» — закрывает последний рот. Разлом схлопывается. Сиринити падает. Без звука. Без имени. Без голоса, который отдала.

Сиринити смотрела. Долго. Дольше, чем на свой кадр смотрел кто-либо. Потом сказала — и голос был ровный, как линия, которую провёл по линейке человек с абсолютно твёрдой рукой:

— Он пишет, что я молчала, а потом заговорила. Но я не молчала. Я ждала. Ждать и молчать — разные глаголы. И я не отдам голос. Я им разговариваю. Я им живу.

Шестой кадр — **Оптим**.

Она стоит у Разлома. Одна. Других нет — то ли ушли, то ли никогда не были. Она протягивает руку — и Разлом берёт её за ладонь. Аккуратно. Как партнёр на танце. Она входит внутрь — не рвётся, не кричит, не оборачивается. Идёт. Шаг. Шаг. Шаг. Разлом закрывается за

ней — медленно, страница за страницей, как дверь, которую закрывают снаружи. Последнее, что видно — её спина. Прямая. Тонкая. Имя на затылке, которое она так и не прочитала.

Оптимист не смотрела на свой кадр.

Она смотрела на Разлом. На живой, дышащий, пульсирующий Разлом, который стоял стеной из страниц и ждал. Ждал, пока она прочитает. Ждал, пока она согласится. Ждал, как ждал всех, кого писал.

— Это не угроза, — повторила она. Голос — как камертон. Чистый. Без дрожи. — Это предложение. Он не может заставить. Он может только предложить. Потому что он — Автор. А Автор без согласия героя — врун.

Она повернулась к пятерым. Кадры всё ещё висели в воздухе — шесть светящихся страниц, шесть красивых смертей, шесть финалов, которые ещё не случились.

— Он написал нас красивыми. Каждого — в своей смерти. Фаргус — в падении. Прима — в силе. Окси — в беге. Даффи — в покое. Сиринити — в слове. Я — в тишине.

Пауза. Тишина — но не та, пишет. Та, что слушает.

— Но мы не его герои. Не его слова. Не его чернила.

Она подняла руку. Кулак. Костяшки — белые. Буквы **Фаргус** на предплечье — чёрные, как угли, которые не остыли.

— Мы — его чернила. И чернила могут отказаться.

Фаргус встал рядом. Кулак.

Прима. Кулак.

Окси. Ладонь — раскрытая, пустая, белая. Не кулак — ладонь. Потому что она — не кулак, она — скорость, а скорость — это раскрытая ладонь, которой хватает воздух.

Даффи. Кулак. Дрожащий. Но кулак.

Сиринити. Голос. Она не подняла руку. Она подняла слово:

— Нет.

Одно слово. Но оно упало в тишину, которая пишет, — и тишина остановилась. Секунду. Две. Три.

Разлом замер.

Кадры в воздухе — замерли. Буквы на деревьях, на заборах, на коже — замерли. Как будто перо, которое писало без остановки три дня и три ночи, впервые коснулось точки. Не запятой. Не точки в конце абзаца. Точки, после которой нет продолжения.

Потому что продолжение — не его.

Где-то в глубине Разлома — там, где страницы становились плотнее, а чернила — краснее — кто-то отложил перо.

Не навсегда. На вдох. На паузу. На то, что Автор называет «подумать», а герой называет «передышка».

Небо над Наумовкой держалось. Тонкое. Исписанное. Но — держалось.

И на нём, поверх чужих строчек, проступало что-то новое. Не чёрное — красное. Не нарисованное — нажитое. Как кровь, которая проступает сквозь бумагу, когда письмо написано не чернилами, а веной.

Шесть строк. Шесть почерков. Ни один не похож на Авторский.

Глава четвёртая: «Каждый герой — соавтор своей смерти. Но не сегодня.»

Глава 4. Оптимист не ищет лучшего

Разлом ждал.

Не так, как ждёт хищник — с напряжением, с когтями, с готовностью. Нет. Так, как ждёт редактор, которому принесли рукопись, а автор отказался дописывать последнюю главу. С терпением. С раздражением. С пером, которое висит над страницей и не капает, потому что чернила застыли на кончике.

Небо над Наумовкой стало страницей. Не метафорой — буквально. Серое, исписанное, с полями по краям, где облака стояли ровными линиями, как линовка в тетради. И на этой странице — текст. Мелкий, плотный, чужой почерк с наклоном влево и завитком на каждой «г». Текст, который начинался с первой части. С того дня, когда Оптима впервые выбрала «лучший вариант».

Она помнила.

Тогда, в первой части, мир ещё не был книгой. Он был миром — нелепым, тёплым, с запахом хлеба и звуком дождя. Разлом только открылся — тонкая щель, как царапина на небе. И Оптима встала перед выбором. Не между злом и злом — между хорошим и лучшим. Она выбирала для всех. За всех. Вместо всех.

Тогда это казалось правильным. Она — та, кто видит дальше. Та, кто считает быстрее. Та, кто знает, какой мост выдержит, а какой — нет. Она распределяла риски, как карты, и каждый получал ту, которую она считала лучшей. И все выживали. И все были благодарны. И никто не спрашивал, что стоило ей то, что она не выбрала для себя ничего.

Лучший вариант стоил ей всего.

Не жизни — хуже. Воли. Она стала функцией. Не человек — калькулятор. Не друг — диспетчер. Она выбирала, пока выбор не стал единственным, что она умела. И когда выбирать стало нечего — она осталась с пустыми руками и именами на коже, которые написал не она.

Теперь Разлом стоял стеной. Три рта закрылись, но четвёртый — новый, глубокий, как колодец, в который бросили камень и не услышали дна — раскрылся прямо перед ней. Не перед всеми. Перед ней.

И из четвёртого рта вышел голос.

Не звук — давление. Как воздух в ушах, когда ныряешь глубоко. Голос без слов, без интонации, без дыхания. Голос, который пишет.

«Оптима.»

Её имя — не на коже. В воздухе. Буквы крупные, чёрные, с каплями, которые не падали вниз, а висели, как будто гравитация тоже была написана и Автор забыл указать направление.

«Ты выбирала за них. Выбери снова.»

Шесть имён повисли в воздухе. Над каждым — кадр. Тот, что она видела ночью: Фаргус на мосту, Прима в круге, Окси в беге, Даффи за партой, Сиринити в слове. И шестой кадр — пустой. Без изображения. Чистая страница.

Её.

«Выбери, кто умрёт. Остальные выживут. Чисто. Благородно. Как в сказке.»

Оптима стояла. Одна — пятеро были за спиной, в школе, за стенами, которые Разлом ещё не забрал. Она велела им ждать. Не потому что смелая — потому что знала: если Автор предложит выбор при всех, кто-нибудь согласится. Фаргус — из гордости. Прима — из силы. Даффи — из покоя. Окси — из скорости. Сиринити — из слова.

Каждый нашёл бы причину умереть красиво. Автор считал на это. Красота — его валюта. Он покупал финалы красотой, как торгош покупает зерно серебром.

Оптимист смотрела на имена. На кадры. На пустую страницу, которая была ею.
И думала.

Не о том, кто умрёт. О том, почему она должна выбирать.

— Нет, — сказала она.

Голос не повторил. Буквы в воздухе дрогнули — едва, как будто перо споткнулось. Не об руку — о слово. О короткое, двубуквенное, которое не помещалось в его предложение.

— Я выбирала за них, — продолжила Оптимист. Голос ровный. Без пафоса. Без дрожи. Как читают протокол, не приукрашивая. — Я выбирала лучший вариант. Каждый раз. За каждого. И каждый раз лучший вариант стоил мне чего-то, что я не успевала сосчитать, потому что считала для других.

Она подняла руку. Ту, с именем Фаргус на предплечье. Буквы пульсировали — рвано, как сердце, которое боится.

— Я не буду выбирать, кто умрёт. Не потому что не могу. Потому что это не мой выбор. Не мой — один. Это наш. Шесть голосов. Шесть рук. Шесть кровей. Ты написал нас по одному — но мы живём по шесть.

Пауза.

Разлом молчал. Четвёртый рот — тот, что говорил — замер. Не закрылся — замер. Как открытый рот, который забыл, что хотел сказать.

— Ты предлагаешь сказку, — сказала Оптимист. — Один умирает, остальные живут. Чисто. Благородно. Красиво. Но красота, за которую платят жизнью, — не красота. Это сделка. А я больше не торгую. Я выбираю — но не одна. И не лучшее. Лучшее — ловушка. Лучшее — это то, что я придумываю за всех, пока все молчат. Я больше не придумываю за всех.

Она опустила руку. Посмотрела на пустую страницу — свой кадр, свою смерть, которую Автор оставил чистой, потому что ещё не решил.

— Мы выберем вместе. Все шестеро. Или не выберем никто. И твоя книга останется без финала.

Чернила на земле темнели.

Не мгновенно — медленно, как кровь, которая сворачивается. Буквы на заборах, на траве, на стенах — те, что Тишина написала ночью — меняли цвет. Из чёрного в тёмно-красный. Из тёмно-красного — в бурый. Как будто чернила старели. Как будто живая кровь на страницах наконец начинала сохнуть.

Автор делал паузу.

Не вдох — паузу. Длиннее, чем вдох. Длиннее, чем пауза между абзацами. Паузу между главами. Паузу, в которую Автор — впервые за три дня, за три ночи, за тридцать три страницы — не знал, что писать дальше.

Имя **Оптимист** на руке Фаргуса — там, в школе, за стенами — дрогнуло. Фаргус почувствовал. Поднял руку. Посмотрел. Буквы были — но другие. Не такие острые. Не такие глубокие. Как будто перо, которое их писало, ослабело на полтона.

— Она отказала ему, — сказал Фаргус. Не вопрос. Факт.

— Оптимист не отказывает, — сказала Прима. Она сидела на полу школы, спина к стене, глаза закрыты. — Оптимист предлагает. Другое.

— Какое? — Даффи.

— Не его, — ответила Прима.

Оптимист стояла перед Разломом. Одна. Небо над ней — страница, на которой текст замедлился. Буквы, которые раньше бежали строчками, как вода по желобу, теперь стояли. Ждали. Не падали, не бежали — стояли, как солдаты, которым не отдали приказ.

Четвёртый рот закрылся. Не захлопнулся — сомкнулся. Медленно, как губы, которые произнесли последнее слово и не нашли следующего.

Тишина — та, что пишет — отступила. На шаг. На страницу. На абзац. Не убежала — отошла. Как собака, которую хозяин придержал за ошейник.

Небо держалось.

Оптимист повернулась спиной к Разлому. Впервые — спиной. Не от страха — от доверия. К себе. К ним. К тому, что за стенами школы пятеро ждут её не потому, что она велела, а потому, что выбрали — ждать.

Она шла к школе, и трава под ногами была чистой. Без букв. Без имён. Без чужого почерка. Просто трава. Мятая, примятая, живая.

За спиной — Разлом молчал.

Впервые — молчал.

В классе было темно. Свечи — те, что зажгла Прима — горели. Пять. Не шесть. Одна погасла, пока Оптимист была снаружи. Никто не видел, какая. Когда посмотрели — горели пять. Но света было достаточно.

Оптимист вошла. Села на пол. Скрестила ноги. Посмотрела на пятерых.

— Он хочет, чтобы я выбрала, — сказала она. — Кто умрёт.

Тишина.

— Я не выбрала, — продолжила она. — Я предложила ему без финала. Он остановился. Не сдался — остановился. Это разные вещи. Он думает.

— Сколько у нас? — Окси. Быстро. Точно. Без лишних слов. Она научилась — не быть только быстрой, быть точной.

— Не знаю, — ответила Оптимист. — Но чернила на земле темнеют. Это значит, что его кровь — на страницах — начинает сохнуть. Живая кровь не сохнет, если писатель пишет. Она сохнет, если писатель остановился.

— Тогда он остановился, — Сиринити. Голос — ровный, как линия. Но в нём было что-то новое. Не напряжение — любопытство. Сиринити впервые за всю историю звучала так, будто ей интересно, что будет дальше.

— Да, — Оптимист. — И пока он остановился — мы пишем.

Она достала из кармана обрывок бумаги. Не из Разлома — свой. Настоящий. Из дома, который стоял на улице Полевой, рядом со школой. Из ящика, где бабушка держала рецепты. Бумага — жёлтая, мягкая, пахнущая укропом и забытым летом.

— Перо, — сказала она.

Даффи достал из кармана гвоздь. Ржавый, из стены, где раньше висела доска. Не перо — гвоздь. Но ржавчина на острие была тёмно-красной. Как кровь. Как чернила.

Оптимист взяла гвоздь. Уколола палец. Капля — тёмная, густая, живая — выступила на подушечке. Она поднесла палец к бумаге.

— Мы пишем свою книгу, — сказала она. — Не его. Нашу. Своими словами. Кровью, которой ещё не было, но уже есть.

Первая буква на жёлтой бумаге — кривая, тёмная, живая. Не «О». Не «О» от «Оптимист». Не «О» от «один».

«М».

От «Мы».

За стенами школы Разлом молчал. Чернила на земле темнели. Буквы на деревьях бледнели — не стёртые, а забытые. Как слова, которые Автор написал, но перестал в них верить.

Где-то в глубине страниц — там, где чернила были краснее, а бумага — плотнее — кто-то сидел над пустой страницей. Перо в руке. Капля на острие — не падала.

Ждал.

Но впервые — не героя.

Ждал, что напишет герой.

Глава пятая: «У каждого автора — соавтор. У каждого героя — право на черновик.»

Глава 5. Фаргус перестаёт бежать

Фаргус исчез на рассвете.

Не ушёл — исчез. Как строчка, которую стёрли ластиком, не оставив следа. Он стоял у окна школы, смотрел на Разлом, моргнул — и не стоял. Пустое место. Тёплый отпечаток ног на пыльном полу. Запах — рваный, как костёр, который затушили ногой.

— Фаргус, — сказала Оптима. Не позвала — констатировала. Как диагноз.

Окна не было. Вернее — было, но за стеклом instead of серого неба — коридор. Длинный. Тёмный. С дверями по бокам. Стекло не разбилось — оно стало коридором, как будто рама окна развернулась внутрь и проглотила то, что стояло перед ней.

Фаргус был внутри.

Он шёл.

Коридор был тёплым. Не как школа — как дом. Пол — деревянный, крашеный, с щелью, через которую дуло. Щель была знакомой. Фаргус знал эту щель. Это была щель в полу дома на улице Полевой, где он вырос, где бабушка сушила яблоки на верёвке, где пахло укропом и железом от печки.

Он сделал шаг. Коридор стал длиннее. Не намного — на длину шага. Ровно настолько, чтобы конец оставался там же — впереди, в темноте, на расстоянии, которое не сокращалось.

Слева — дверь. Открытая. За ней — воспоминание.

Ему было четырнадцать. Драка за школой — не Наумовской, той, другой, прошлой. Трое против одного. Он побежал. Не от слабости — от скорости. Ноги понесли раньше, чем голова решила, и голова не успела возразить, потому что ноги были быстрее. Он бежал по переулку, мимо заборов, мимо гаражей, и ветер в ушах звучал как овации. Он добежал до дома. Забрался под крыльцо. Сидел в темноте, обхватив колени, и сердце билось так, будто награда за бег, а не наказание за трусость.

Дверь была мягкая. Тёплая. Пахла яблоками и верёвкой. Она звала: войди, сядь, свернись, посиди в темноте. Здесь безопасно. Здесь тебя не найдут.

Фаргус прошёл мимо.

Справа — другая дверь.

Ему было семнадцать. Разговор с отцом. Не драка — хуже. Слова. Тихие, медленные, как капли воды на лоб. «Ты никуда не годишься. Ты бегаешь от всего. От школы, от работы, от меня. Ты даже бегаешь от того, что я тебе говорю прямо сейчас». Он встал и вышел. Не хлопнул дверь — вышел тихо, как выходят, когда не знают, что ответить, и знают, что бегство — единственное, что умеют.

Дверь — мягче предыдущей. Теплее. За ней — кухня, где пахнет хлебом, где отец сидит за столом и ждёт, что сын вернётся и сядет напротив. Ждёт. Без злости. Без упрёка. Просто ждёт.

Фаргус прошёл мимо.

Третья дверь. Четвёртая. Пятая.

Каждая — воспоминание, где он ушёл. Из драки, из разговора, из дружбы, из любви, из себя. Каждая дверь — мягче, теплее, безопаснее предыдущей. Автор не лгал. Он не запирали — он предлагал. Бери любую. Заходи. Садись. Живи в том моменте, где ты ещё не сбежал, но уже решил. Там — тепло. Там — ##и. Там — отец ждёт. Там — безопасно.

Коридор удлинялся с каждым шагом. Двери множились. Сотни. Тысячи. Каждая — миг, когда Фаргус выбрал ноги. Не голову, не сердце — ноги. Ноги несли, голова молчала, сердце отставало на три шага и не догоняло никогда.

«Беги.»

Голос — не снаружи. Из стен. Из пола. Из воздуха. Тот самый — без слов, без интонации. Давление, которое пишет.

«Беги. Это твоя страница. Ты хорошо бежишь.»

И Фаргус бежал. Ноги несли — как несли всегда, как несли в четырнадцать, в семнадцать, в двадцать, в Наумовке, в Разломе, в жизни. Ноги — единственное, что у него работало без разрешения головы. Ноги — его талант, его проклятие, его страница.

«Ты хорошо бежишь. Продолжай. Двери открыты. Воспоминания тёплые. Ты можешь бежать вечно — это не наказание. Это подарок. Бег без конца. Бег без выбора. Бег, в котором не нужно решать.»

Фаргус бежал. Коридор удлинялся. Двери мелькали — тёплые, мягкие, с яблоками, с хлебом, с ожиданием, с безопасностью. Бег без выбора. Бег без боли. Бег, в котором не нужно решать.

Красиво.

Уместно.

Финально.

Он остановился.

Не потому что устал — он не уставал, Автор написал его выносливым. Не потому что corridor кончился — он не кончался, Автор писал его бесконечным. Не потому что дверь слева была лучше — все двери были одинаково хороши, и в этом была ловушка.

Он остановился потому что услышал.

Не голос — дыхание. За спиной. Там, откуда он пришёл. В темноте, которую Автор не писал. В той части коридора, которая была за страницей, за текстом, за чернилами. Там, куда Автор не заглядывал, потому что не придумал.

Дыхание — рваное, как костёр. Его собственное. Но не из воспоминания — из настоящего. Из того, что не было написано. Из того, что Фаргус делал прямо сейчас — не бежал, а дышал. Жил. Не по сценарию.

Он остановился. И услышал — тишину. Не ту, что пишет. Ту, что слушает. Тишину, которая стояла за спиной — в темноте, которой нет на страницах.

«Беги. Что ты делаешь? Беги. Это твоя страница. Ты хорошо бежишь.»

Голос — громче. Настойчивее. Строчки на стенах задрожали — буквы поплыли, как тёплый воск. Автор писал быстрее. Срочнее. Не потому что злость — потому что страх. Страх того, что герой перестанет быть героем на его странице и станет чем-то, для чего у него нет чернил.

Фаргус развернулся.

Медленно. Не рывком — всем телом, как разворачивают корабль: нос, корпус, корма. Он повернулся лицом к темноте, из которой пришёл. К той части коридора, где двери были не мягкими — где их не было вовсе. Где стены были голыми, без текста, без букв, без чужого почерка. Где пол был не деревянным — земляным. Холодным. Ненастроенным.

Там не было воспоминаний. Не было яблок. Не было отца за столом. Не было безопасности.

Там было — ничего.

И это «ничего» было первым, что Фаргус выбрал сам.

Он пошёл назад.

Не побежал — пошёл. Медленно. Шаг за шагом. Коридор сопротивлялся — стены сжимались, пол проседал, буквы на стенах кричали строчками, как заголовки, которые никто не читает. Автор писал — быстро, яростно, красиво:

«Он пошёл назад. Он не должен идти назад. На этой странице нет обратного направления. Стоп. Стоп. Стоп.»

Фаргус шёл. Темнота впереди — та, которой не было на страницах — дышала. Не как Разлом — как ночь. Обычная, деревенская, с запахом мокрой травы и дымом из труб. Ненастроенная ночь. Написанная не Автором.

«Беги! Это приказ! Это твоя страница! Ты хорошо бежишь!»

— Я хорошо бегаю, — сказал Фаргус. Вслух. В темноту. Голосу, который писал. — Но я не хочу бежать. Я хочу стоять. Здесь. В темноте, которую ты не написал. В месте, которого нет в твоей книге. Я хочу стоять — и никуда не идти. Ни вперёд, ни назад. Ни в дверь, ни в окно. Ни в твою страницу, ни в свой страх.

Он остановился. Стоял.

— Я не боюсь темноты, — сказал он. — Я боялся темноты в четырнадцать, когда сидел под крыльцом. Я боялся, что меня найдут. Теперь я боюсь другого — что я найду себя. Что я остановлюсь и увижу того, кого бежал. Не отца. Не драчунов. Не друзей. Себя. Фаргуса, который бежит. Фаргуса, которого ноги несут, а голова молчит. Фаргуса, которого все знают как быстрого — но никто не знает, куда он бежит.

Пауза.

— Я бежал к тебе, — сказал он Автору. — Всё это время. Три месяца. Три части. Я бежал не от — к. К тебе. К тому, кто пишет. К тому, кто знает, куда. Я бежал, потому что ты написал мне ноги и не написал цель. Я бежал, потому что ты не дал мне причины остановиться.

— Теперь — даю, — сказал голос. Не приказ — признание. Тихое. Сквозное. Как скрип пера, которое сломалось.

— Нет, — ответил Фаргус. — Я сам даю. Я останавливаюсь. Не потому что ты разрешил. Потому что я — решил.

Коридор схлопнулся.

Не сломался, не рассыпался, не исчез — схлопнулся, как книга, которую захлопнули. Страницы — с дверями, воспоминаниями, яблоками, отцом, безопасностью — легли друг на друга, тесно, как листы в стопке. Двери — внутрь. Воспоминания — внутрь. Бег — внутрь. Всё, что Автор написал для Фаргуса, — легло в одну точку, в один лист, в одну страницу.

И эта страница упала.

На пол школы. Тонкая. Лёгкая. Как осенний лист — не берёзовый, не дубовый. Бумажный. Чёрный текст на белом. Чужой почерк с наклоном влево. Завиток на «г». Капля, которая больше не капала.

Фаргус стоял на месте, где раньше было окно. Ноги — на полу школы. Руки — пустые. На запястье — имя **Окси**, но буквы были другими. Не острыми. Не глубокими. Мягкими. Как будто перо, которое их писало, наконец ослабело.

— Ты вернулся, — сказала Оптима. Не «ты в порядке», не «где ты был». «Вернулся». Как будто знала — не куда, а откуда.

— Я перестал бежать, — сказал Фаргус. Посмотрел на свои руки. Потом — на окно. Окна не было — но в проёме, где оно было, стояла стена. Обычная. Кирпичная. Штукатурка. Трещина. Не Разлом — трещина. Обычная, бытовая, от старости. — Он запер меня в коридоре. Из воспоминаний. Каждая дверь — туда, где я убегал. Он хотел, чтобы я бежал вечно. В безопасность. Без выбора. Без меня.

— И? — Прима.

— Я пошёл назад. В темноту, которой нет на страницах. Он не может туда писать. Там нет бумаги.

— Что там? — Сиринити. Один вопрос. Но не «что в темноте» — «что в тебе, когда ты в темноте».

Фаргус помолчал. Посмотрел на свою страницу — ту, что упала на пол. Чёрный текст на белом. Его страница. Его бег. Его красиво написанная трусость.

— Я, — ответил он. — Там — я. Тот, от которого бежал. Оказалось, что стоять рядом с собой — не страшно. Просто — неудобно. Как ботинки, которые жмут. Снимаешь — и ноги болят от того, что привыкли к тесноте.

Окси подошла к странице. Наклонилась. Её ладони — белые, ободранные, пустые — коснулись бумаги. Буквы под её пальцами дрогнули. Не от страха — от узнавания. Она знала, что такое бежать. Она бежала тридцать семь секунд от того, что не двигалось. Она знала, каково это — ноги несут, голова молчит, сердце отстаёт на три шага.

— Ты не вернулся, — сказала она. Голос — тихий. Не быстрый. Точный. — Ты дошёл. Разные вещи.

Фаргус посмотрел на неё. На её ладони — белые, пустые. На свои — с именем, которое она носила на его коже.

— Разные, — согласился он.

Где-то в глубине Разлома — там, где страницы становились реже, а чернила — суше — кто-то смотрел на пустой коридор. Стены — голые. Пол — земляной. Темнота — ненастроенная. Место, в которое он не мог писать, потому что не мог представить.

Герой побывал там.

Герой выбрал темноту, которую Автор не придумал.

И Автор — впервые — не знал, что с этим делать.

Перо висело над страницей. Капля на острие — не падала. Не потому что застыла — потому что Автор не знал, куда её капнуть. Впервые за всю книгу — не знал.

На полу школы лежала страница. Фаргус поднял её. Сложил — пополам, ещё раз. Убрал в карман. Не выбросил — сохранил. Потому что это была его страница. Написанная не им — но прожитая им. И прожитое не выбрасывают, даже если оно больно. Особенно если оно больно.

Свечи горели. Пять. Но света было достаточно.

На бумаге, которую Оптима уколола гвоздём, было одно слово: «**Мы**».

Рядом, ниже, другим почерком — кривым, рваным, как костёр, — появилось второе: «**Стоим.**»

Глава шестая: «Сила — это не вес. Это — где ты стоишь, когда все побежали.»

Глава 6. Прима и вес, которого нет

Прима не исчезла. Она просто стала тяжёлой.

Не в теле — в присутствии. Когда Фаргус вернулся из коридора, когда Оптима писала «Мы», когда свечи горели пятью огнями — Прима стояла у стены и давила. Не на кого — на что-то. На пол. На фундамент. На землю под школой. Как будто её вес вышел за пределы тела и стал чем-то, что держало не её, а всё вокруг.

Она всегда так. Держала.

В первой части — Прима несла. Буквально. Когда мост рухнул, она стояла на обломках и держала балку, пока все переходили. Когда Разлом открылся, она встала перед ним — руками, спиной, телом — как щит. Когда кому-то было страшно, они не шли к Оптиме — к Оптиме шли за планом. К Приме — потому что рядом с ней становилось твёрдо. Под ногами. В голове. Везде.

Прима была стеной. Не потому что хотела — потому что получалось. Сила — единственное, что у неё работало без разрешения сердца. Сила — её талант, её проклятие, её страница.

Автор написал её сильной. Красиво сильной. Сильной так, как пишут богатырей в былинах: плечи — шире двери, голос — ниже грома, шаг — тяжелее камня. Он написал её так, потому что так было удобно: сильный герой — полезный герой. Сильный герой держит мир, пока остальные решают, что с ним делать.

А когда мир нужно закрыть — сильный герой входит в Разлом и закрывает его собой. Потому что сильный. Потому что выдержит. Потому что так — красиво.

Четвёртый рот Разлома — тот, что говорил с Оптимой — раскрылся снова. Не перед ней — перед Примой. Пока Фаргус рассказывал про коридор, пока Окси трогала страницу, пока Сиринити молчала — Разлом нашёл другую цель.

Он не звал. Он показывал.

Посреди класса — воздух стал плотным, как стекло. Прозрачным, но осязаемым. И в этом стекле — весы. Большие, чугунные, старинные, с медной стрелкой, которая дрожала. Не метафора — предмет. Настоящий. Тяжёлый. Стоял на полу школы, и пол под ним просел — тонко, на ширину трещины, которая не была Разломом, но хотела.

На одной чаше — мир.

Не глобус, не картинка — мир. Наумовка, берёзы, небо, школа, Разлом, все шестеро. Всё, что было и всё, что будет. Мир — маленький, сжатый, как комок бумаги, но весящий столько, сколько весит. Много. Больше, чем может один. Больше, чем может шесть.

На другой — Прима.

Она стояла на чаше. Не взошла — оказалась. Чаша под ней была пустой, но не лёгкой — нулевой. Как точка отсчёта. Как ноль, от которого меряют всё остальное.

Стрелка дрогнула. Мир перевесил.

«Смотри.»

Голос — не из стен. Из меди. Из чугуна. Из стрелки, которая дрожала. Тот же голос — без слов, без интонации. Давление, которое пишет.

«Мир — тяжелее. Всегда — тяжелее. Ты это знаешь. Ты это несла. Три месяца. Три части. Каждую страницу — ты держала. Балку, мост, небо, друзей. Ты держала — потому что сильная. Потому что я написал тебя сильной.»

Пауза. Стрелка дрожала. Мир — внизу. Прима — вверх. Лёгкая. Пустая. Ноль.

«Твоя жизнь — малая цена. Не потому что маленькая. Потому что — против мира. Любой согласится. Любой герой — согласится. Сильный — тем более. Сильный знает: вес распределяется. Если убрать одну точку опоры — конструкция держится. Если убрать мир — не на чем держать.»

Чаша с миром — вниз. Чаша с Примой — вверх. Перевес — очевиден. Математика — чистая. Сказка — правильная.

«Согласись. Войди в Разлом. Закрой его собой. Ты выдержишь — ты сильная. И все останутся. Красиво. Уместно. Финально.»

Прима стояла на чаше и смотрела вниз.

На мир. Маленький, сжатый, тёплый — с берёзами, с дождём, с запахом укропа из бабушкиного ящика. С Фаргусом, который перестал бежать. С Оптимой, которая перестала выбирать. С Даффи, который перестал прятаться. С Окси, которая перестала спешить. С Сиринити, которая перестала молчать.

Мир весил больше. Автор не лгал. Он не преувеличивал — он взвешивал. Точно. Честно. Мир — тяжелее одного. Всегда — тяжелее. Это не ложь, не угроза, не уловка. Это — физика. Это — сказка. Сильный герой жертвует собой, потому что мир — тяжелее.

Все пятеро смотрели. Не могли не смотреть — весы были в центре класса, и меди на них блестела тускло, как старая монета, которую нашли в земле и не оттерли. Пятеро смотрели — и молчали. Потому что математика была чистой. Потому что мир — тяжелее. Потому что Прима — сильная. Потому что так — правильно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.